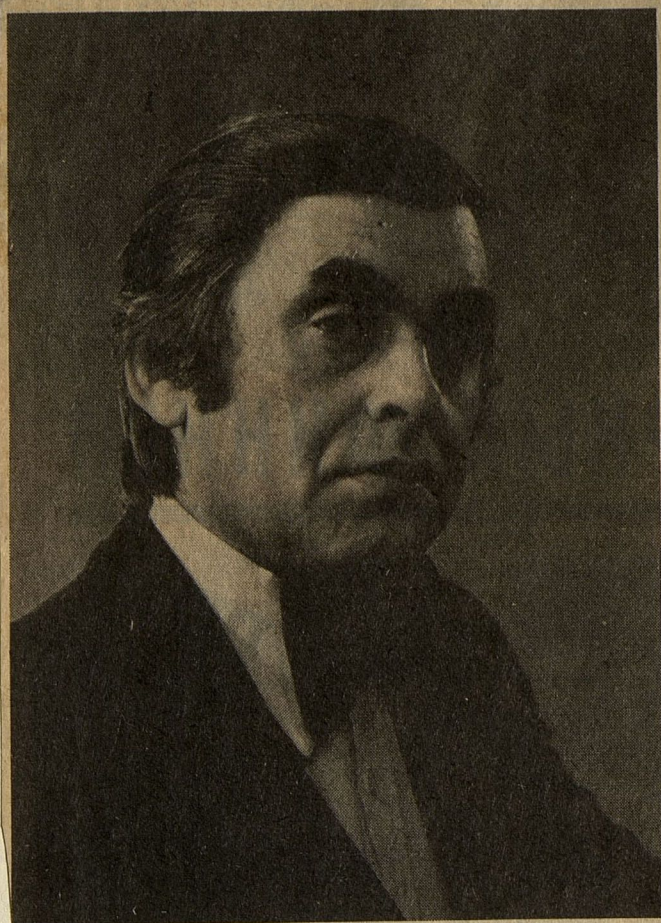




и полезет тогда в глаза вся условность происходящего. И скажут тогда в зале: «Смотри-ка, облака нарисованные, а у Германа пистолет не настоящий».

Такая вот жизнь и работа. — Ну, все, — сказал Михаил Иванович, — теперь отдых, настроятся, как следует: послезавтра спектакль. Надо быть бодрым и...

— Вздолнованным?

ротким шагом. Сходи, песен ты много до конца знаешь, это не просто ля-ля-ля без слов. Да и грамоты за самостоятельность не дают за так. Голос хороший. Слушаешь — приятно».

Короче, счастливые случайности начались. Уговорили его, и он пошел. В приемной комиссии сказали, что поздно уже с документами, что завтра уже прослушивания и что раньше

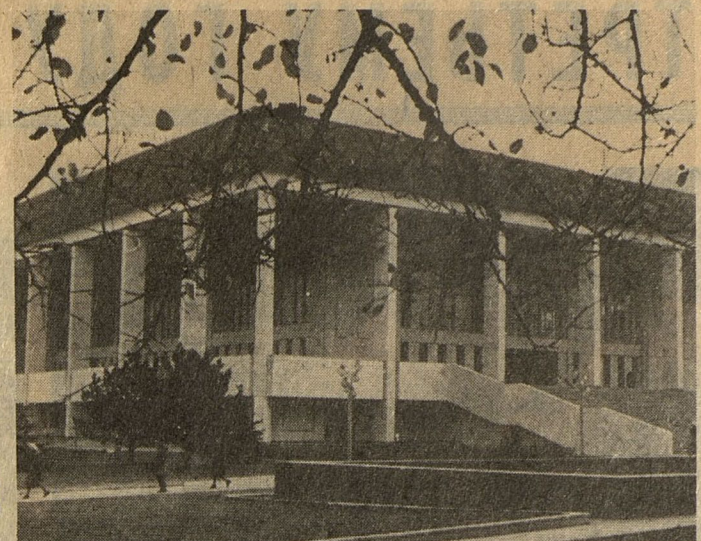
во всяком случае. Пока переодевался, пока собирался... Выхожу, а у подъезда люди стоят — кому автограф, кому просто парой слов перекинуться хочется. Нет, правда. Было такое. Удивительно.

Такая жизнь. И сколько сторон у нее? Десять? Сто? И столько, и столько, хотя обе цифры совершенно приблизительно. А каждый из нас со

ринные площади и музеи. Куда ни глянь — кругом великое и великие. С утра занятия, вечером спектакли и концерты. Сам пел, других слушал. С итальянскими оперными знаменитостями общался на короткой ноге. Жил по программе: дважды два — пять, потому что были планы и мечтания — до синего неба. Иначе нельзя, если ты, конечно, не ремесленник. Спорил

ТАКАЯ ЖИЗНЬ И РАБОТА

ТВОЙ СОВРЕМЕНИК



ТАК мы и познакомились: много раз по телефону о встрече договаривались, а когда встретились, стали разные байки друг другу рассказывать — каждый о своем. Сидел он в домашнем кресле и в домашних тапочках, и в синем спортивном костюме, который покупают для того, чтобы по утрам бегать и улучшать здоровье, а на самом деле, чтобы выбегать в магазин налегке или дома ходить. Здоровье, конечно, улучшать надо, но какой там бегать! Дел невпроворот.

— Вот смотри, что получается, — сказал Михаил Мунтяну. — Сейчас каждый день репетиции, отчетно-выборное партийное собрание скоро — доклад надо писать. Потом поездка в Могилев, открытие сезона, а после праздников опять надо ехать дней на десять. Сегодня так заматался, что и поест толком не успел. Как освобожусь немного, позвоню. Ладно?

Прошел день-другой. Я ждал звонка и все наши байки вспоминал. А потом подумал, что какие же это байки? Разговор-то был по существу, только форма была несколько неожиданная: мы пригласили друг к другу, поменялись над пустяками, поспорили, потом решили, что мы в общем единомышленники. Но вопросы все-таки остались, и пояснения к ним требовались. Вот, например, что нужно сделать, чтобы рядовой зритель пришел на оперу «Трубадур», а потом ему захотелось еще раз ее послушать? Или так, Модно о Тарковском потолковали, почему же до сих пор с его фильмов уходят? Не понимают? Или не хотят понимать? Или вот еще. Иную книжку возьмешь, а потом к ней всю жизнь возвращаешься, а иную и до конца сил нет дочитать. Дело вкуса? Конечно, его. Но только чье вкуса?

Ведь звучит иногда с эстрады такое: «выйди к парку в полвосьмого — украду тебя при всех, песню бросить невозможно, если есть припев». Такой вот вкус у иных сочинителей. Но и это не все. Взялся человек оценивать чью-то работу, посмотрел на сцену или на экран, или на рукопись и сказал: «Все это плохо». И не объяснил — почему. Просто щеки надул и вышел вон. Такая категоричность.

В общем, порешили мы, что все эти вопросы — вопросы сложные, и наскоком их не объяснишь. Но думать о них следует всегда. Встретимся — поговорим.

...Прошел день-другой, звонка не было. Тогда я позвонил сам. В трубку сказали, что после поездки Михаил Иванович заболел, сейчас в больнице и выпишется дней через десять. Аккурат за три дня до открытия сезона и за день до генеральной репетиции «Пиковых дам», где он поет Германа. Но работа есть работа, и праздник никто не отменит и не перенесет.

ТЕАТР готовился к празднику. Со стороны посмотреть — вроде суетятся все, к одному и тому же месту по несколько раз возвращаются, проверяют и еще раз проверяют, советы, кажется, записывают и дают и потеют. А на самом деле идет работа, в которой нужно быть собранным, как лев в засаде, в которой все знакомо, но одновременно неожиданно, в которой нужно

уметь быть мужественным, а через минуту плаксивым, потому что ты артист. Иначе режиссер хлопнет в ладоши, обозначив секундный фрагмент аплодисментов и скажет: «Не верю». И, если ты артист, придется поверить, что он не верит, и стать терпеливым, как лев в засаде.

Звучит музыка великой оперы, на сцене люди в современных одеждах. Лиза в красивом платье и в красивых туфельках, князь Елецкий в джинсах, у Германа на руке электронные часы время считают. Герман поет: «Смерть, я не боюсь тебя...»

— Стоп, стоп... Миша, «Смерть, я не хочу тебя». Так надо. Вспомни.

— Да, да. Извините. Идет работа. Режиссер ходит и бежит от одного артиста к другому, приседает зачем-то и рукой что-то показывает.

С кресел в зале уже сняли чехлы. Михаил Иванович легко сошел со сцены, в кресло сел возле чехла, свернутого в кучу цвета снега на обочине. Чуть бледный после болезни, а может, после репетиционного вживания в образ Германа, который сначала хотел смерти, потом передумал, а потом сошел с ума и убил себя, проиграв все на свете...

Хоть и не светло здесь, но видна его седина, и глаза блестя, словно в них какая-то своя тайна догорает. Даже не тайна, блеск такой, какой бывает у человека, напряженного и весело поработавшего и открывшего в привычной работе новое и интересное. Вот он и думает вслух, потому что поделиться хочет.

— Я Германа знаешь, сколько видел... Одного даже такого, который уже с первой картины почти невменяемый. А ведь Герман... Вот что такой Герман? — Влюбленный, неудачник. Игрок — «тройка, семерка, туз».

— Ну, насчет игрока я спорю. Он беден, он по копейке собрал сорок тысяч. Такой человек не может поставить на случайную карту. Какой же он игрок тогда? А еще — он ведь садится за стол, точно все рассчитав, — он же узнал тайну графини и был уверен в выигрыше. А тут — на тебе. Ваша карта бита. Настоящий игрок и такой проигрыш выдержит, а этот нет. Нож схватил. Впрочем, к этому времени он уже сумасшедшим был...

— Вообще-то это сказка. К тому же на сцене.

— А я не спорю, — сказал он и серьезно посмотрел. — Ты что же, в сказки не веришь? Приходи-ка на спектакль.

Ну хорошо — сказки, сюжеты сказочные, декорации — все это условно. А действительно, ведь можно же не спеть, а поставленным голосом сказать: «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой...» А если ритм слов и некоторые слова не устраивают, то можно и так, оставив смысл: «Небесное создание, ты прости, что я в окошко влез и твой покой нарушил». Конечно, все условно. Но мысли-то о своих героях самые настоящие. Так и не иначе. Ведь если не будешь думать, почему твой герой не жаждет мести, а прощения просит, почему веселится, а не слезы льет, если, как принято говорить, не будешь жить на сцене его жизнью, то что получится? Безобразия получится, т. е. жизнь на сцене без образа. Вот

— Это смотря о каком волнении речь. Не о том, конечно, когда дрожь в коленках и в животе холод. Другое. Зритель в опере в основном кто? Друг и доброжелатель. Тех я не считаю, кто приходит покрасоваться. А к другу на встречу идешь с радостью. Так что радостное волнение. В детстве, было дело, иначе волновался, когда на сцену выходил. Сейчас — другое. Конечно, другое. Когда профессионал.

ДЕТСТВО — время особое. И волнения в нем особые, потому что детские. Сейчас он, когда из детства что-то одно вспоминает, будто в тепло натопленной комнате сидит, а когда что-то другое, будто осень за окном, и мокрое небо, и идти куда-то надо, а куда — не знаешь.

Все было своим чередом. Сначала зима, а потом деревья цветут, губы черные от шелковицы, а потом яблоки на землю падают и надо виноград собирать. Школа, оценки всякие, дневники-тетради... Однажды он в школьную печку каштанов накалил. Повзрившись, конечно. Отец его домой привел и сказал: «У каждого свое дело, сынок. У тебя сейчас дело — учиться. И давай так, чтобы я в твоё дело не вмешивался».

Аргументированно и по существу. Опять зима, весна, лето. Повзрослел на год. Осенью кукурузу на ветру просеивали. Тяжелые зерна упали, а легкие разлетелись. Их бы смести вместе с землей да курам бросить — и так склюют. Отец сказал: «По зернышку будем собирать. В жизни все так. Всегда надо по зернышку все собирать, чтобы толк получился».

По зернышку не быстро горсть набирается.

Так жили в молдавском селе Крива по-крестьянски мудро и серьезно, с приглядом на будущее. И весело жили, потому что песенным было село. Собирались за столом. Миша с мамой сидят, отец напротив. И еще соседи да знакомые. Песни поют. Песни красивые и мама красивая. От песни тепло и от мамы тепло. Миша к тому времени стал уже грамоты домой приносить, в которых говорилось про его активное участие в художественной самостоятельности. Где песня — он туда поближе. Как по радиоточке музыку передают — погромче делает. А если опера какая зазвучит, он совсем выключал. Ну какая это музыка? Он тогда сам запевал. Он маминых песен его уже сколько знал!

Потом мама умерла. Отец сказал, что... Да что он мог сказать тогда? Такой уход каждый одинаково принимает и каждый — по-своему. И никакой житейской мудрости, даже если ее хоть пруд пруди, не хватает. Пожар в доме, а часы идут.

Зима-лето, зима-лето. Одни времена кончились, а другие не наступили еще. Десять классов позади, а впереди что? И поехал Михаил в Кишинев свое место в жизни искать, или место, где петь, или жизнь дают, или свою судьбу, или счастье. В общем, из родных мест поехал все сразу искать. У дальних родственников поселился в тихом районе. До экзаменов в университет времени — месяц. Скучно. «Ну чего ты маешься, — сказали ему, — от нас до консерватории — пять минут кро-

надо было думать. А о чем думать? О консерватории? Вот уже никогда не думал. Пел себе и ладно.

По прохладному коридору пошел, в аудиторию заглянул просто так... В то же самое время, в те же самые минуты, по этому же самому коридору тогдашний ректор консерватории шел. Поговорили — то да се. Михаил ему грамоты, свернутые в плотную трубу, показал. Снова поговорили. И лихон написал ему ректор прямо на белой трубе: «принять». И расписался.

Всю ночь он вопросом промучился: «Что же я буду завтра петь?» А утром ему этот же вопрос повторяют вежливым таким голосом: «Так что же вы нам споете, молодой человек?»

— А что хотите.

— Так это мы хотим или вы хотите?

Пел он народные песни и все не до конца. Его прерывали, останавливали, а потом «четверку» поставили, потому что если «пятерку» поставить, то зачем тогда человеку учиться в консерватории на певца? Такая мысль.

Когда узнал, что поступил, думал: «Буду народные песни петь, ну на худой конец — эстрада». Таинственный мир оперы, где все было непонятным, где надо напрягать мозги, чтобы ответить на свои же вопросы, пришел позже, когда началась серьезная учеба, не прощающая лености души, пижонских выходов и фраз: «Мне это не интересно».

ОБЫЧНО бывает так. После института — работа. А бывает, что после института опять учиться хочется.

После консерватории ему и работать, и учиться хотелось одновременно, потому что эти два процесса — один в другом, и друг друга не отрицают. И все же, и все же... Была одна заветная мечта, от которой дух захватывало и вело.

Он работал, а иные говорили, что очень уж легко и гладко все у него идет. Потом первое признание пришло и опять говорили. Был авторитетный конкурс, на котором он нормально выступил, выполнив поставленную задачу. Опять зима-лето. Опять конкурс. Но оценили его выступление уже по-другому. Плохо. А сам-то как оценил? Дома один по секрету поплакал — так и оценил.

Помните про лектора, который пришел лекцию читать, а в зале всего один человек? Но лектор не смутился и лекцию прочитал. По-разному об этом рассказывают и даже показывают в кино. Но суть одна: не закричал человек, «уйду в сторожку» от того, что силой каких-то обстоятельств поставлен был перед ним холодный вопрос-улыбка: «Ну и кому нужна твоя работа?»

— Всякое случается, — говорит Мунтяну. — И перед полупустым залом приходилось петь. Работа такая. Обидно, конечно, бывает. Но с другой стороны — на кого обижаться? Или зал переполнен, а чувствуешь, контакта нет. Зритель разный, да и мы не всегда одинаковые. Кажется, еще секунда — и проглотишь тебя темная пропасть, где покашливают и шепелят обертками. Страшно.

Такая жизнь артиста.

— Или вот помню, закончился в общем-то совершенно обычный концерт. Так мне казалось,

стороны на жизнь артиста посвоему смотрит. Один говорит: «Только не надо, не надо, знаю я этих артистов». Другой говорит: «Что вы мне все уши о нем прожужжали, ну поет...» Пошел, послушал, на людей посмотрел, которые искренне кричат «браво», огляделся. Сейчас помалкивает. Хорошо, хоть так.

Такая жизнь. Письмо из далекого города получил, где недавно гастроли театра проходили, а в письме: «Уважаемый тов. Мунтяну! Благодарю за ту радость, которую доставили вы своим искусством...»

Такая жизнь. Еще письмо, а в нем коротко суть. Дескать, много на свете всяких чудиков — кто этикетки собирает, кто книжки, а я собираю фотографии оперных певцов. Желательно, с автографом. Так что быстренько сфотографируйтесь и пришлите фото по такому-то адресу. Про автограф не забудьте.

Такая жизнь. Если гастроли или даже небольшие поездки, то это гостиницы. И что за разница, какие они? То ли со скоростным лифтом и с ресторанами на любой вкус, то ли пешком на пятый этаж и с буфетом до 19.00, где холодные котлеты и простокваша. Разницы никакой, потому что это далеко от дома.

Такая жизнь. Форму держать надо. Того нельзя, этого нельзя... Ничего нельзя. С друзьями и близкими говорить не напрягаясь, за сцену до спектакля вообще лучше помолчать... Короче, терпеливым надо быть, как лев в засаде, не только на сцене. В жизни тоже, потому что жизнь такая.

— Однажды, когда я Ленского пел, слова забыл. На сцену вышел и не могу вспомнить. А слова-то — любой знает: «Я люблю вас, Ольга».

— И как?

— Не спрашивай... А в Варне, помню, девушка-суфлер стала текст подсказывать по другому переводу. Намучились. Или вот в Одессе... в Москве...

Опять пошли байки, которые отвлекают, потому что смешно, но в которых много интересного. И записывать не надо — так запоминаются. Да и жизнь сама всякие байки стала подбрасывать. Звоню утром в день спектакля Мунтяну и чувствую, что не вовремя. Так и оказалось — разбудил. Ну, конечно, стал извиняться, слова лишние говорить. А в это время в кабинет знакомый заходит. Послушал и говорит, что не надо казаться вежливее, чем ты есть на самом деле. Объясняю: — А ты знаешь, между прочим, что за жизнь у этого человека? Пить, курить, острого, соленого, сильно горячего, сильно холодного — нельзя. За иной спектакль до двух килограммов живого веса теряет. Вот я его разбудил, а у него, может, бессонница была. Такая психологическая нагрузка. Попробуй-ка сегодня быть одним, завтра другим и еще самим собой, хотя бы для порядка...

— Два килограмма? Он что, йог, что ли?

— Почти...

Ладно, хватит баек. Телер — двухгодичная стажировка в миланском театре. Помните про заветную мечту? Сбылась-таки.

«Ла Скала». Италия. Синее море — белый паролон... Города с красивыми названиями, ста-

по-студенчески, но не до хрипоты.

Один его коллега, с которым Мунтяну приехал вместе оперного ума-разума набираться, сказал:

— И не спорь. У Паваротти ситцевый голос. Я же слышу...

— Почему же ситцевый? Может, джинсовый? Не смеши.

— Джинсовый — это современно. А у него ситцевый. Очень уж простой и такой... Ситцевый. Я же слышу...

— Скажи хотя бы «мне кажется, я так думаю, по-моему». Откуда такая категоричность? Категоричность — это проявление дремучего невежества. Не смеши. Нашел место.

Приходилось и отбрасывать от всяких наводящих вопросов, и на дверь мягко указывать. Один журналист местной газетенки спросил:

— Как вам нравятся наши магазины?

— Ничего магазины. Только мы приехали сюда учиться музыке.

— Голос у вас замечательный. С вашим бы голосом...

— Знаете-ка что?

Италия. Синее море — белый паролон. Два года — каждый день на счету. Жизнь по максимальной программе и еще чуть больше. Когда уезжал, ему рабочий театра гвоздь из сцены «Ла Скала» подарил. Старый черный гвоздь. Ремонт сцены делали, он и насобирав гвоздей и людям, ему симпатичным, на память раздал. Я на ладонь гвоздь тот положил, и в душе что-то легко шевельнулось. А может, показало? — Не показалось, — сказал Михаил Иванович.

ПОЭТ сказал про театр и логи, которые блещут. И еще говорят, что театр начинается с вешалки. Это образ такой. А в узком коридоре и в гримерных — актеры, костюмеры, гримеры...

Театр начинается...

Казарма. Ночь. В сознании Германа возникают картины похоронов старухи. Это так в программе написано. А на сцене обезумевший Герман в страхе мечется, совсем близко — рукой дотянуться — видит в гробу графиню: она поднимается со смертного одра и загробным голосом называет три карты. Свечи горят, покойница оживает, а лицо у нее желтое. Кто хочешь с ума сойдет. Слышен стук старушечьей палки, и тишина в зале слышна. А за кулисами пожилая костюмерша стоит и говорит мне шепотом:

— Ой, как мне Лизу жалко — чисто по-женски.

А когда стихли в зале рукоплескания и громкие театральные возгласы, когда на сцену из зала перенесли все цветы, какие только были, когда за занавес устал открываться и закрываться и остановился, когда все, что попадалось на пути, говорили «поздравляю, Миша» и обнимали его, — в грим-уборную зашел сынишка Михаила Ивановича.

— Пап, а тебе было страшно? Музыка такая, и старуха со свечами в руке поднимается.

— А тебе?

— Еще как было...

Это как поздравление. Они обнялись. Потом еще принесли белых цветов. Для народного артиста республики Михаила Ивановича Мунтяну начался новый сезон. Тринадцатый по счету.

В. ЦЕСЛЮК.